

ВИТЯЗЬ

Повесть

Не сват и не брат никому Игнашка Саломатов, никому не родня. Сам себе веет, сам себе сеет, сам жнет, сам жует – судьбе себя под ноги валит и нетоптанным жить измудряется. Был друг Сёма, но затерялся в были, словно в небыли, – то ли холост, то ли женат, то ли брат кому, то ли дядя. Нет его, да и ладно. Игнашка и один жить управится.

От кого Игнашка отродился, откуда родом – темное дело. Но в Москву он явился из армии. С вокзала в магазин пошел, штатское купил, а военное в чемодан бросил. Стал спрашивать про квартиру, а продавщица:

– Что ж, солдат, и жить негде?

– Негде, мать. Может, к себе возьмешь?

– С матерью ты зря вылез. Я еще ничего. И взять бы тебя взяла, да тебе Москва нужна.

– А ты, что ль, не Москва?

– Нет. Я – загород.

– Можно и на загород поглядеть, – размышлял Игнашка и стал затылок чесать.

Она глянула: парень – звончей монеты. С лица – орел, со спины – решка, с гурта ребрышки проступают. Дорогая деньжина. Глянула и предложила:

– Может, в складе подождешь? Помощь, понимаешь, нужна. Ящики там подвигать...

– Почему бы и не подвигать? – ей в тон – Игнашка.

Пригляделся к ней: рыжая. Друг Сёма уверял: кто рыжа, как ржа, – в любви ржа.

– Ну, иди из магазина к черному ходу. Я подбегу.

Пошел Игнашка к черному ходу, а бабы так и висят на нем взглядами. Одет дешево, а кажется дорог.

Обошел магазин, а продавщица уже стоит, щекой рдеет, в лицо не смотрит. Повела перед собой, рукой трогает, дорогу показывает. Да вдруг в кабинет толкнула.

– Ты чего? – не ожидал Игнашка.

– У меня тут сестра – директор.

– Какая сестра? На двери написано: Псков.

– Тебе не все равно – Псков или Новгород? Тоже мне географ.

Сестра так сестра. Вошел Игнашка, а она – трык-щелк – дверь на замок закрыла.

– Такое дело, солдатик, выручай! У нас проверка сейчас ожидается, вот бы и помог – унес кое-что. Ты в солдатское-то переоденься, в свое. Я тебе в чемодан другое обмундирование суну, и в скверик иди, тут напротив магазина. Подождешься меня, и поедем за город.

Щурится, рыжая. Смотрит ласково, а сама чемодан из руки хватить, открыла и на диван форму вытряхнула.

– Раздевайся, не жди. Солдату-то ничего не будет. Кто его будет смотреть?

Игнашка думать не стал. Стянул с себя брюки, сорочку снял, а она и не глядит на него. Шкаф открыла и свертки в чемодан укладывает.

– Эх, – думает Игнашка, – была не была.

Схватил солдатский ремень, подошел со спины, юбку ей на голову вместе с халатом задрал да ременной петлей прихватил вместе с руками над головой. Ловко так вышло. Она и «ах» сказать не успела. Он сам ахнул: такая красота точеная бабья!

– Ну что? Бить тебя, воровка, или любить?

– Кричать буду, – рыпалась она в юбке, словно в мешке.

– Давно бы орала, коли б могла.

– Ну, делай что хошь, только скорей.

– Нет, такая любовь мне не нужна.

– Да какая же любовь, если руки связаны?

– Дрянь ты, преступница, а хорошо говоришь.

– Развяжи, – скулеж из мешка,

Распутал ремень, но одернуться не дал. Юбку, кофту, халат и бюстгальтер вверх через голову разом содрал, а через ноги надетое сорвал вниз. Растащил одежду от пояса и вынул тетеньку, голенькую, как из футляра – гитару.

– Не спешил бы, милоч. Дома бы... Ведь застукают, – уговаривала, груди зажав руками.

Но тут Игнашка голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Рухнули на диван. Игнашка с непривычки замаялся – такой рукопашной в армии не учили. А она полежала миг и поднялась через силу.

– Иди, милоч, иди в сквер, ведь тюрьма мне, иди! Пропади они пропадом, эти тряпки! Если не посадят за них, то убьют.

Игнашка оделся по-солдатски – раз-два, захлопнул чемодан и пошел.

– Жди меня, золотой!

Ах как сладко сказала! Под чудной грудью на горячем сердце обнежился голосок.

Топают Игнашка по коридору направо к выходу. Только ногу занес на порог – вот он и страж порядка: черно-серые пятна и автомат, а в зеркале души главный интерес отразился: в каждом глазике его – по игнашкину чемодану.

– Ты чего, солдат?

– Да туалет искал. Невтерпеж.

– Задержаться придется, парень. Не вовремя тебе приспичило. Надо чемодан показать. Пошли, покажешь, – и стал заталкивать парня внутрь.

Но разве даст себя Игнашка толкать? Ногу подставил вояке, он и повалился в дверной проем вместе со своим автоматом. Игнашка дверь захлопнул и в ручку железку воткнул – валялась тут на земле скоба. Вояка за дверью – в свист, а Игнашка вдоль улицы – в ноги. Такого дал драпана петлястого по дворам, что и заблудился. Вышел на боковую улицу, глядь – троллейбус останавливается. Игнашка сел да поехал. Сколько ехал, не помнил, потому что сердце колотилось громко. Потом в автобус пересел, а на номера и не глядел. Откуда ему, нестоличному человеку, знать, что надо на номера глядеть?

Когда успокоился, вышел из автобуса, опустил на лавку. Местность совсем не знакомая. Город. А в чемодане – ворованное тряпье. Отдать бы надо, а где ее теперь, эту продавщицу, искать? Да вдруг на засаду напорешься? Задумался Игнашка. А тут глядь: на столбе бумажка, на пальчики порезанная, и на каждом пальчике – телефон: «Сдам комнату одинокому неженатому».

Сорвал Игнашка пальчик: надо бы позвонить, а как?

Огляделся вокруг – мужичок идет.

– Мобильника нет? Позвонить очень надо.

Мужичок засмеялся:

– Ты чего, брат, чудишь? Зачем мне мобильник? Я ж с завода. Мне звонить некому. У меня все свои рядом. Под нос прогундишь – без мобильника слышат.

– И как же тогда позвонить?

– Пошли в проходную!

Перешли они через дорогу и зашли в проходную. Заводик тут какой-то прятался за бетонной стенкой.

У вертушки стоит дородная женщина – центнера этак на полтора, – оценил Игнашка.

– Аннетка, привет! – сказал мужичок.

– Володь, ты куда? Ты ж выходной.

– Я – никуда. Солдату вот позвонить надо. Комнату хочет снять, а мобильника нет. Дашь ему позвонить?

– Легко, – сказала Аннетка и выставила телефон из окошка на подоконник.

Игнашка позвонил. Женский голос сообщил адрес и стал объяснять, как добраться. Игнашка достал из кармана ручку с записной книжкой, переспрашивать начал, но Аннетка не дала ничего записывать.

– Это рядом. Володь, ты бы служивого проводил – все равно делать нечего.

– Да и провожу. Пошли, солдат. Бери свой чемодан. Я бы тебя к себе пустил. И работал бы ты со мной на заводе. Да у меня, понимаешь, даже на балконе – и там остеклил – собака живет и мальчишка уроки делает.

Когда вышли из проходной, Игнашка сказал:

– Такая солидная женщина, а Аннеткой зовут. Чудно.

– Замуж вышла – в танк переменялась, – согласился Володя. – А была – в спичечном коробке просторно. Но тогда ее Анькой звали. Про эту перемену целый рассказ можно рассказать. Хочешь – слушай.

– Давай, – согласился Игнашка. – Надо же о чем-то говорить по дороге.

Вот что рассказал Игнашке Володя.

БАРД

Когда Альбин безнадежно влюбился в Аньку, он купил себе гитару и стал петь песни. Слушать его было противно, потому что Альбин шепелявил. Мы говорили ему: завязывай, а он все равно пел. Анька глазками постреливала, но ни с кем не гуляла – то ли рано ей было, то ли вообще сухой человек. Альбин даже спал на лавке под ее окнами – она же только губу выпятит и плечами пожмет: чего, дурак, добивается? Видно было, что никакого, даже самого простенького, девичьего самодовольства в ней этот факт не возбуждает. Ходит в окружении шепелявых песен и приговаривает:

– Выключил бы ты, Альбин, свое радио!

Альбин замолчит на пять минут, а потом опять: то Окуджавой завоюет, то под Высоцкого захрипит.

Раз послали нас по осени на картошку. Анька в автобусе впереди сидела, среди девчонок, а мы – на заднем сиденье Альбина уговаривали:

– Уломай ты ее! Чего мучаешься? Все равно никому, кроме тебя, она не нужна,

– Пошли вы в жаднишу, – отмахивался Альбин.

И Аньку девки уговаривали поддаться, и так же были отсылаемы в то же теплое место.

Махнули мы на это дело рукой, а через пару дней увидели, что Анька всю крутит с технологом Маньковым из третьего цеха. Он ей врет, а она аж назад заваливается – зубы скалит.

Технолог Маньков – человек разведенный, среди нашей братии как бы старший, и Анька при нем тоже вроде как командир.

Альбин, как увидел такое дело, аж взвыл:

– Пьёпадай моя тейега, вше шетыйе коеша!

Схватил свою гитару и убежал в рощу.

Покричали мы ему вслед, покричали – да пошли на поле картошку собирать. Вечером возвращаемся в свой барак, а на столе – бутылка, картошка сварена, и Альбин сидит, гитару настраивает.

– Я не шашкавал, я пешню шошынил.

Поужинали мы, и он нам спел свою песню. Анька в ней для ладу называлась Аннет, а технолог Маньков выступал в роли «ошенного ветра». Смех – смехом, а песня оказалась хорошая. Осенний ветер закружит Аннет, и она завянет, засохнет и будет брошена в грязь. Такое тут было уважаемое сильное чувство, что и шепелявость почти не смешила.

– Ты бы к врачу ходил, Альбин, может, избавиться можно от шепелявости. А то, понимаешь, пропадет твое сочинение. Ведь ты теперь настоящий бард.

В тот вечер Альбин спел свою песню раз двадцать, потом мы все ее пели, и Альбин смотрел на нас страдающим петухом: гордый, а в то же время боль не дает дышать.

До Анькиной души мы в тот вечер не докричались. Девонька с Маньковым по кустам шастала.

На обратном пути мы всем автобусом пели про Аньку, а ее держал за руку технолог Маньков.

Вскоре Анька замуж вышла за Манькова, а Альбин вылечился от шепелявости – то ли ему кусок языка отрезали, то ли подрезали что во рту... Только песен он больше не сочиняет и вообще не поет.

Вот такой был Володин рассказ.

– И где теперь этот Альбин?

– Да тут он. На заводе электрик. Женится на Верке-крановщице. Цветы ей носил, а на проходной Аньке всегда выделял из букета цветок. Вот такие у нас чуткие люди. Давай, солдат, устраивайся да к нам прибивайся. Платят мало, но народ, как видишь, хороший.

– Увидим, – сказал Игнашка.

Сказал – и дружка Сёму вспомнил, как тот твердил: среди хороших помирать да отдыхать хорошо, а жить надо среди плохих, чтоб было кому в глаз дать, а то сопьешься среди хороших.

Привел Володя Игнашку к нужному дому, попрощался и ушел не оглядываясь. Его, оказывается, за углом у палатки ждали чуткие добрые хорошие люди.

Поднялся Игнашка на этаж и позвонил в дверь. Открыла зубастая длинноголовая дама.

– Комната моя, солдат, дорогая. Мне, понимаешь, выплачивать надо (ссуду или залог – сказала неясно – сбилась, сказавши). Ты ведь и не работаешь еще. А у меня порядок: деньги вперед.

Игнашка говорит:

– Можно посмотреть, что сдаете? Комнату то есть.

– Проходи.

Прошел. Комната светлая. Чисто.

– Кроме вас тут никто не живет?

– Я мужа прогнала. Поругалась. Уже неделю одна. С дочкой живу. В третьем классе девочка, но она сейчас у его родителей. Старшая дочь – замужем. Мой муж – официант, а я в прачечной работаю. Мне жилье сдавать выгодно – белье не стираю. Из прачечной натаскаю чистого да нового, и порядок. Ну что, будешь платить за месяц вперед?

Заплатил Игнашка за месяц вперед и закрылся в комнате. Только хотел в чемодан заглянуть – хозяйка стучится.

– Иди чай пить, да и покормлю.

Пошел на кухню. Кухня тесная. Куда ни повернись – на нее натыкаешься. А страшно: приземиста, ушастая, как телефон. Сидит на табуретке и зубищами скалится.

– А ты, видать, до жизни солоший, солдат. О себе бы порассказал. Где работать будешь, как жить?

– Как-нибудь проживу.

– Ты вот что, ты только женщин сюда не води. Я этого не люблю.

– А как же?

– А вот и так же, – сказала и посмотрела значительно. – А нет – так выматывайся.

– Это же, выходит, прямое предложение, – удивился Игнашка.

– Хошь прямое, хошь кривое, – сказала, как отрезала. – Ешь и иди в ванну мыться.

Но тут Игнашка голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Скоро приморился Игнашка, подвалился под теплый бок и задремал.

Замерла она с Игнашкой в обнимку. Сон – не сон, смерть – не смерть. Старая, дохлая, ноги синие, а такую любовь отхватила, какую в молодости не хватывала.

Долго Игнашка спал. Не слышал, как она гладила его, целовала, слезами умывала, волосами утирала.

– Как бревно пилили меня всю жизнь... – шептала она Игнашке.

А Игнашка спит и не спит: в голове, как весной на полях, пахота. Мысли пашут. Глаза открывать не хочется, как подумает, какую красоту загубила жизнь. Лежит рядом человек. А это его остаток. Сёма говорил: глянешь на кожу-рожу – вещь, а вспомнишь про молодость-старость – время. Время человека на теле видно, как в телевизоре: каких ему недодано ананасов, какими черными хлебами добирал свое человек. Жила-была девочка, чуткая веточка, а отросла – жердина корявая: цвет увял, лист упал и в землю втолчен. Жила-была дамочка – не ушастая, не зубастая, а потом ушки гадкое слово слушали, зубки разную гадость кушали, муж бил – кожу дубил, друг бил – зубы дробил. Что тут делать и кто виноват? Друг Сёма говорил: «У живых вина у всех одна: кому казнить, тому и виниться. А хочешь человека сохранить – душу его найди, отмой, полюби, а там и тело полюбишь. Засяет перед тобой человек, и любовь будет множиться».

Женщина целует его под сердцем, и на душе сладко. От сердца ответно ласка идет. А женщина, как кошка молоко, ласку слизывает.

Однако вставать пора женщине, в прачечную на службу бежать. Собралась было, а как пойдешь? Как квартиру оставишь на незнакомого человека? Деньги отдал, а тут у нее добра-то не на такие деньги. Стала дочке звонить – дом рядом.

– Дочка, жилец у меня новый. Чужой человек. Мне идти надо, а дом как оставить? Ты б пришла да посидела, пока вернусь. Только осторожней, смотри. Не связывайся с ним. Ты ж мне дочь.

Продрал Игнашка глаза, а глазам не верит. Сидит в комнате хозяйка, а сама лет на двадцать моложе. И в глазах у ней черти скачут.

«Вот на что способна любовь!» – взыграло в душе Игнашки.

– Молоднуть изволили?

– Чего?

– Молодая стала, – сказал Игнашка.

– Я и была молодая. Я дочка той, которая не молодая.

– А-а.

– И ты, такой молодой, – с мамашей?

– А чего?

– Даешь!

Встал Игнашка с кровати, а сам голый. Дочка глядит и ругается. Ругается, а глядит.

– Ты чего? Не стыдно?

– Так одеться же надо, а ты сидишь.

– Ну и жилец!

– Живу – значит жилец.

Она отвернулась к окну, а сама в зеркало на него косится. Покрутил Игнашка руками, размялся. Видит: рубашка его на стуле висит, брючки сложены. Хотел одеться, да помедлил. Поглядел в спину хозяйкиной дочки и задумался.

– Не думай, не обломится, – сказала она ему.

Говорит, а голос дрожит.

– Гордая, что ль?

– А ты как думал?

– Я совсем не думаю, – говорит Игнашка. – Думать – это слабость.

– Ты не объясняйся, сильный. Одевайся давай!

– Да ты не хочешь, чтобы я одевался. Спина гордая, а глазом косяка давишь.

Значит гордость твоя – пустая.

В самую точку попал, видать, метким словом. Дернулась и головой повела.

– Нет бы попросту: давай, мол, Игнатий, попробуем. А то и говорить не надо.

Нет никого, а я уже голый. Не одеваться же, чтоб опять раздеваться.

Отдать ей должное надо: отважная оказалась. Повернулась лицом – зверь-хищница. От злости и отвращения всю аж перекосило. Руки – ходуном, губы тяжелы – виснут.

– Ты думаешь, не могу? А вот и да!

В два хвата разделась сама и встала: бери!

Глядит Игнашка: как яичко бабенка – плотная. Грудь подхватистая, задорная, живот поджат, ноги длинные. Не женщина, а Абрау-Дюрсо, как однажды выразился друг Сёма. Идеальные формы. А идеальные формы интереса не представляют. Они мертвы.

Повернулся к ней Игнашка спиной и одежду свою в руку взял, но тут же почувствовал спиной когти, ухом услышал: рычит. И взвился Игнашка. Совсем голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти. Когда очухались, много было в квартире битого стекла и качалась люстра.

– Годишься, – сказал Игнашка.

– Молоток, – сказала она.

Помылись, оделись и прибрались, и стала она его кормить.

– Плохо дело, – сказала.

– Почему?

– Я ж не брошу тебя.

– Ну, это фигня.

– Нет, не фигня, Игнашка. Ты теперь мой. Мой на всю жизнь. Другого такого мне не найти.

– Да нет. Мне много нужно бабья.

– Ошибаешься, милый. Тебе нужна только я. А звать меня Блудника.

– Это что за ягода такая?

– Твоя судьба.

И снова Игнашка голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти. Когда отделались друг от друга и отдышались, Игнашка стал спрашивать.

– А ты не замужем ли?

– Замужем. За художником. Он автор известной картины «Сбор падалицы».

– Знаю, – сказал Игнашка. – В журнале напечатано. Фамилия его Лепешкин. И то думаю: где я твое лицо видел?

– Там и мамаша моя нарисована.

– Он, видно, хороший человек. И картина его задорная.

Блудника подумала и сказала:

– Кукиш в брюках, а не картина. Там с задором падалицу собирают, а не с восток рвут. Одним прославление кажется: красных яблок наваляло немерено, а другим – подковырка: весь урожай – гнилье. Ловкий он. Кукиш в брюках, и весь сказ.

– Там и портрет его. Человек он гордый, – сказал Игнашка.

– Гордый-то он гордый, но сломленный. Где сломалось – срослось, но перелом знать о себе дает. Поэтому во все стороны бьет поклоны. Я ведь у него вторая жена. – Блудника вздохнула и губы поджала. – Жаль, но и тут у него неудача.

– Из-за меня?

– Не только. Из-за того, что он сломленный максималист. Хочешь выслушать про него рассказ?

– Давай. О теле твоём все знаю, надо и про жизнь немного разведать.

Вот рассказ Блудники о муже, которого звали Лепешкин.

МАКСИМАЛИСТ

Есть люди умные, есть дураки. Лепешкин был волевой. Талант к волевым решениям и поступкам он почуял в себе очень рано, но интересней от этого не становился. Ребятам во дворе даже бить его было не интересно. Притиснет губы к зубам и молчит, выпучив глаза. Изредка только врежет кому по уху или в нос: кукла куклой, бесчувственный и тупой, потому что большая воля чаще всего дает ощущение тупости.

Но в то же время была в нем смелость и вкус к благородным поступкам. Раз Колька Прошин спокойно так рассказывал, как ехал в электричке, а напротив парень сидел в клевых перчатках и в дорогой шапке.

И тут вошли в вагон двое парней, цап эту шапку и эти перчатки... Парень стал отнимать, а они ему пятак почистили и ушли.

– А ты? – спросил Лепешкин,

– А я делал вид, что сплю, – простецки сказал Колька Прошин.

Тут Лепешкин по колькиной морде – хрясь!

– За что? – заорал Колька.

– С меня раз в электричке часы снимали, а какая-то сука делала вид, что спит. Вот такой был Лепешкин, а с виду – заморыш.

В восемнадцать лет он – бах, и женился. Все во дворе так и сели.

– А чего? – спросил Лепешкин.

– Ты ж учиться хотел.

– Сначала она будет учиться, а я пока на заводе поработаю.

– Как звать-то ее?

– Валька.

– Зря ты, Лепешкин. Вальки по большей части в паху удалые.

– Чтобы я этого больше не слышал, – круто сказал Лепешкин, и разговор увял.

Стал Лепешкин по утрам ходить на завод вместе со своими родителями, а Валька сидела дома, готовилась в институт.

– Помочь надо молодой женщине, – сказал Колька Прошин. – Я ее по математике натаскаю.

Натаскивал ее Колька с месяц, потом Васька истории ее обучал, Димка по литературе гонял, а Лепешкину соседи, видно, сказали, что очень усиленно жена его готовится в институт. Сквозь пол даже слышно. Лепешкин отпросился с работы

и попал в самый разгар подготовки. Ну, ясное дело, подали на развод, а тут вскоре Лепешкина взяли в армию. Так что разводили его заочно.

Армия – она не трудом тяжела, а тем, что наказание там – физический труд, а поощрение – праздность. Таким образом унижается труд, а значит и нечто главное в человеке – человеческое достоинство. Кроме того, в армии много никому не нужной пустой работы.

С первых же своих армейских минут Лепешкин восстал. Назвали салагой, а он – табуретку в руку, и в бой. Послали белить мелом землю – он матерных слов понаписал. За это Лепешкин все возможные помойки вычистил, всю грязь в самых мерзких местах собственными руками отскреб.

Говорит ему ротный:

– Ну что, Лепешкин, больше не будешь?

– Не буду больше, – сдался Лепешкин.

И сломался волевой человек. Не стало больше Лепешкина.

Начал он письма писать своей бывшей жене, прощения просить, а ротный тем временем назначил Лепешкина хлебрезом в столовой – хлеб-сахар-масло делить.

– Лепешкин, я на масло пролетел! – подойдет к окошку молодой воин.

– Лети дальше, – посоветует Лепешкин и захлопнет окошко.

– Какие в нашей роте происшествия? – спросит ротный.

– Не знаю, но хлеб на закуску я выдавал Иванову-Петрову-Сидорову, – ответит Лепешкин.

– Зачем закладываешь? – спросят ребята. – Ведь мы тебе этим хлебом пасть забьем.

Молчит Лепешкин. Только глаза краснеют.

А тут приходит Лепешкину ответ от бывшей жены: если бы ты меня не бросил, никогда бы не жить мне так хорошо. Я теперь валютная проститутка, жена иностранцев, которые приезжают в Москву, и валюты у меня больше, чем у Внешторга.

Тут совсем Лепешкин закис, и поутру пошел на турник вешаться. Только он сунул голову в петлю, подоспел дневальный по автопарку.

– Я, наверно, душевнобольной, – сказал Лепешкин.

Но ребята зажали его в каптерке и вылечили,

После службы Лепешкин вернулся домой не сразу. Он уехал в далекий город, где нет ничего, кроме рояля, на котором играли ссыльные декабристы. Нашелся там потомок культурного человека и открыл в Лепешкине способность к изобразительному искусству. Когда Лепешкин привез в Москву серию «Таежные тропы», все сразу поняли, что молодое дарование сказало в искусстве новое слово. На картинах были те же дороги, на которые звала тогдашняя пропаганда, но вели они в глухую тайгу, в мрак, безысходность. Правда, другие считали, что дороги эти ведут к нашему свету из прошлого таежного мрака. Вот и угадай, кто он такой. Кукиш – он и есть кукиш. Вроде бы кулак для борьбы, и все же не кулак, а совсем другое устройство.

Таков был рассказ Блудники о муже.

– Как же ты такого большого человека на меня променяла? – спросил Игнашка. – Я же не знаменит, не богат, и образования – нуль.

Подумала Блудника, пропела несколько раз слово «амбивалентность» – словно Вальку, первую жену Лепешкина, помянула, а потом сделала умное лицо учительницы, при наготе довольно забавное, и сказала:

– Мы с тобой сошлись, как зверье в природе. С дерева спрыгнули, в начало цивилизации отбежали, где ни имя, ни диплом никакого значения не имеют. А как с жаждой дикости малость справимся, из природы выделимся, ты быстро всего добьешься.

– Почему так думаешь?

– Потому что он рухнул там, где ты стал свободен. Его ломало то, от чего тебе, дикарю, лишь польза. Он и теперь хозяина ищет, а ты – вечный, как народ, его величество, но сейчас – новый, хозяином можешь стать, свою жизнь построить. А он не строил, но только пристраивался, чтобы продаваться на всех прилавках – сегодняшних, завтрашних и вчерашних. Пусть продавщицу себе найдет, самоторжец. Хорошая будет пара. А мне при тебе, дикарь, самое место, потому что главное дело в жизни – свобода.

Хотел Игнашка это дело обсудить хорошенько, про Кукиша и про армию потолковать поподробнее, поделиться свежими воспоминаниями, но тут зазвонил телефон. Великий художник почуял, что какой-то Игнашка ломает его судьбу, и посредством телефонной трубки решил вмешаться.

Наглая Блудника весело объяснила трубке, что она от другого пытается забеременеть. Трубка злобно возразила, и Блудника стала нервничать и ругаться. Но разве Игнашка подпустит к любимой женщине злобу? Он обнял Блуднику, такой вlepил поцелуй, что трубка выскользнула из ее руки, а потом Игнашка сам голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти. Скажем только, что трубка болталась на проводе, как тело самоубийцы.

Трубка ругалась сначала, потом впивалась черным ухом в окружающие шумы, а потом позвонили в дверь. Раз позвонили, два позвонили – они не слышали. Три позвонили – опять не слышат, потому что сами шумят. А потом уже не звонили. Дверь открыли ключом. Мамаша Блудники пришла, а следом вошел муж-художник. Муж хватался за бороду, пытался губу удержать рукой, чтоб не дергалась, а мамаша с порога начала лаяться. Но Блудника с Игнашкой ничего не слышали, потому что были как раз крепко заняты. Муж с мамашей постояли над ними, но стыдно стало, и подались на кухню: мол, подождем. Ждали-ждали, но сколько можно ждать? Опять пошли в комнату. А там – все то же.

– Когда устанете? – спросил муж.

Блудника глянула на него, как на нечто странное, и ответила:

– Лет через пятьдесят.

Потом перевела взгляд на мамашу и сказала:

– Мамочка, прости! Тебе все равно с ним не совладать, а такого кобеля отдавать жалко.

После этого глаза ее никого, кроме Игнашки, не видели.

Лепешкин хотел позвать милицию, но мамаша стала дергать у него телефон. Так крепко дергала, что и подрались. Художники – ребята сильные. Лепешкин победил. Позвонил-таки. Пришел милиционер молодой, заглянул в комнату, смутился и сказал, что его это дело совсем не касается.

– И давно ждете? – спросил милиционер из личного любопытства.

– Сутки, – ответил Лепешкин.

– Если вы нанесете им телесное повреждение, отвечать будете по всей строгости закона, – сделал милиционер серьезное предупреждение. – Лучше пишите заявление о разводе.

– Я бы ей все простил, – сказал художник.

– Это не вина ее, – мудро сказал страж порядка, – это ее счастье.

А мамаша заплакала.

Тут милиционер увидел солдатскую фуражку на вешалке и чемодан на полу.

– А не тот ли это солдат, который из магазина выносил краденое?

– Не тот, – сказала мамаша. – Он из квартиры не выходил.

– Верю, но надо лицо посмотреть.

Прошел милиционер в комнату. Хотел лицо посмотреть, а сам смотрел на другое, не мог сдержаться. А им хоть бы что! Они ничего не видели. Им хоть земля вся пропадом пропади, – так крепко друг другом заняты. Постоял милиционер. А по-

том устыдился вконец и ушел, дверью хлопнул. Видно, другое было у Игнашки лицо, не походило на то лицо, которое бежало из магазина.

Художник Кукиш приходил, уходил, а потом не пришел совсем. Стал писать заявление о разводе.

Мамаша ругалась и плакала, и снова ругалась, а потом убралась из квартиры: переехала к мужу, к его родителям.

Когда Игнашка очухался, много времени прошло. Дверь была нараспашку, и много тут народа ходило на них смотреть. Блудника в себя пришла и стала смеяться.

– Вот мы какие!

Стали они вместе жить. Не жизнь, а сплошные радости. Игнашка дивился: бросало его к ней, а ее – к нему. Все время хотелось видеть ее, ощущать, трогать, мять. Вместе в магазин ходили, вместе еду варили и ели вместе. А потом деньги кончились. Дня три пожили без денег, Игнашка и говорит:

– Надо мне кой-куда сходить. В магазин один, универмаг у вокзала.

Рассказала она, как до универмага доехать, и он поехал. В «Мужскую одежду» поднялся на этаж, рыжую продавщицу нашел.

– Здравствуйте, – говорит. – Я чемодан принес.

Смотрит она – глазенками зырк-зырк по сторонам – и шепчет:

– Здесь нельзя разговаривать. Иди в скверик. К тебе скоро придут, и отдашь чемодан.

– А мне ничего за подвиги не обломится?

– Ну взял бы себе чего из чемодана.

– Я так не люблю. Не моя поклажа.

– Да расплачусь я с тобой, миленький, расплачусь! – блеснула продавщица глазом и поддела боком с намеком.

Игнашка сказать ничего не успел – Блудника как с неба упала.

– Я тебе расплачусь, гардина рыжая! Именно: не змея, а тряпка.

И пошла, и пошла! Так орала – трехметровые стекла звенели.

– Я вас не знаю, гражданочка! – оправдывалась продавщица.

– А я и знать тебя не хочу. Он мой. Всех за него порешу.

– Не мыло, небось, у него. Не измылится, – посмеивались вокруг женщины. – Все мужики такие, и нечего глаза за них выцарапывать.

Тут продавцы сбегаться стали, про милицию заговорили. Игнашка – чемодан в охапку и ходу. На автобусной остановке Блудника его догнала.

– Ишь, собрался. Меня тебе мало?

Пришлось Игнашке рассказать, в чем дело.

Домой пришли, чемодан открыли, а там – современные брюки, фирменный пиджак, дорогих мехов – куча. Блудника прикинула – не одна тысяча баксов прячется в чемодане.

– Сами продадим, без ихнего магазина. Ворам такие деньги – раз плюнуть, – решила Блудника.

Игнашка сморщил лоб, но тут же голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Стала она маме звонить, договариваться, и в два дня реализовали все через прачечную, а деньги сложили стопочкой на столе.

Брюки и пиджак, разумеется, Игнашке достались.

Стал Игнашка в шикарных штанах щеголять с Блудником в обнимку. Часто голову Игнашка терял и ей кружил голову где попало, даже в зоопарке раз – у загона с лосем, и лось серьезно на них смотрел. Денег они совсем мало тратили, ведь и есть им особо некогда было. Всё друг другом заняты непрерывно. Так что – подсчитали – денег должно на годы хватить. Игнашка жил как в раю, в котором Блудника пролетала, как ангел.

Может быть, жили бы они себе спокойно годы, если бы не художник Лепешкин-Кукиш, который в полную меру показал свою мелкую мстительность. Позванивать начал, под окнами похаживать да послеживать. Мол, на что живете, на что шикуете? Про милиционера вспомнил, как тот Игнашкой интересовался. Магазин нашел, в котором Блудника учинила скандал, с рыжей продавщицей познакомился, и узнал, что зовут ее Дарья.

У художников – творческая работа, а это – досуг. Пошептался он с рыжей Дарьей, за город съездил на чистый воздух, и весьма пленительным оказался этот пленэр. Открылись ему в Дарье незаурядные свойства, а она обнаружила в нем глубины без дна и крышки, то есть бесконечность. Стали они друзьями, и художник Лепешкин утешился, осознав через Дарью бесконечность своего таланта.

Но рыжая Дарья медлила утешаться. Она постоянно твердила художнику, мол, Бог мне тебя послал, потому что украденный чемодан-то висит на мне, числится. По старой дружбе, мол, счетчик пока не включают, а включают – открывай ворота беде.

– Да кто же тебя так мучает, душа ты моя? – лопотал Лепешкин в постели. – Скажи, я ведь многое могу. У меня ведь знакомства.

– И большие твои знакомства?

– Мердников, например. Человек известный, могучий.

– Ты знаешь Мердникова? – удивилась Дарья. – Я слышала, он портной.

– В определенном смысле – портной. Дела шьет, – засмеялся художник. – Я и папашу его знавал, когда после армии уехал в далекий город. А дядя этого папаша – известный в тех местах революционер. Его портретами весь местный музей увешан. Я, пожалуй, мог бы тебе про них рассказать – про дядю, папашу, да и мамашу Мердникова. Я их на историческом переломе застал, когда все у нас в стране ломалось. Молодой-то Мердников в те поры уже работал в Москве, в органы устроился и успешно продвигался по службе.

– Ну рассказывай давай, не томи!

Вот что рассказал художник Лепешкин-Кукиш.

МЕРТВАЯ ТОЧКА

Дядя был лих, племянник был тих, несмотря на общий родовой талант чутать контру.

Дядя бывало трясся и стрелял в головы без суда и следствия, так что даже сотрудников рвало зеленью.

Племянник же только трясся, но не стрелял.

Дядю в свое время выгнали из органов с формулировкой «за зверство», а племянник никогда в органах не служил. Он преподавал русский язык и литературу.

Дядя устанавливал в городе свою власть, а племянник дожил до времен, когда дядины фотографии убрали из краеведческого музея, а именное оружие уперли оттуда воры. Кобуру же с подписью исторического лица бросили в плевательницу – значит, для преступлений, а не ради идеи брали исторический дядин наган, который для города был то же, что для страны крейсер «Аврора».

– Нужно создавать боевые отряды, – твердил племянник. – Скоро появится вождь.

– Вам, Мердниковым, и карты в руки, – замечала жена, красивая, как исполком.

Единомышленница и соратница, жена преподавала историю в той же школе, поэтому Мердниковы были в школе определяющей силой, обеспечивающей бесконфликтное поступательное развитие учебного процесса.

– Пионеров нужно организовывать и комсомольцев – настоящих, прошлых и будущих, – говорил Мердников.

– Но для этого их нужно идейно вооружить, – замечала жена. – А потом и просто вооружить.

Мердниковы жили в плохом городе. Дело в том, что город находился на острове, а единственный мост, построенный в период застоя, долго не застоялся. Рухнул от того, что наряд милиции не смешал шаг. На этом месте был когда-то деревянный мост, который возводили еще монахи, но его разобрали на дрова и заборы.

Зима в тот год тотальной гласности выдалась теплая, и ходить по льду запрещалось. На лодке, опять же, лед не дает проплыть. Не будь речного ледокола, приходящего на выручку раз в неделю, город вымрет от голода и тоски. Но организации, отправляющие ледокол, как обычно, шалили: то одной муки пришлют, то лишь сахар, в прошлый раз доставили две баржи полных собраний сочинений, а вчера, в пятницу, ничего не выгрузили, кроме портвейна "777" и к/фильма «Королева Шантеклера» с журналом.

А еще потому был тот город поган, что весь он был сделан из монастыря.

Когда-то здесь был богатый монастырь – единственный клочок русской земли, устоявший от погибельного татаро-монгольского нашествия. За все столетия опустошительного разгула врагам не удалось проникнуть на остров, сколько ни бились.

Когда Мердникова проходила в классе этот раздел, дети всегда задавали один и тот же вопрос:

– Как же не вымерли здесь монахи?

– Монахи нашего монастыря – дети крестьян окружающих деревень, защитники родной земли. Во времена татарского ига они не старели и не умирали. Многие из них дожили до Михаила Романова, – отвечала Мердникова. – А настоятель монастыря руководил обороной острова даже во времена наполеоновского разбоя. Он бы дожил и до сего дня, если бы монастырь сохранился.

Глаза детей сверкали патриотическим блеском, а Мердникова ощущала полноту счастья, несмотря на преподанную неправду, потому что Наполеону и не снилось бывать в столь отдаленных краях. От Москвы, дальше которой его не пустили, до острова-города, о котором речь, тысячи километров. Но Мердниковой не правда важна была на уроках, но воспитание патриотических чувств.

Под напором волн новой жизни монастырь был разрушен, но не исчез. Стены с башнями разобрали на печи, храм переоборудовали под кинотеатр, в трапезной сделали дом культуры, в разных строениях поселились учреждения и средние школы. Баня только сохранилась в прежнем виде, но украсилась жестяным плакатом: «Закончив труд, башка гудит. Помывка ей не повредит». В общем, все обновилось, а приглядишься – то же самое: тот же монастырь, только вроссыпь, что сильно задевало классовое чутье местного учителя русского языка и литературы товарища Мердникова.

– Не доделал дядя своего дела, – вздыхал учитель.

– Отряды надо создавать. Тут и разговаривать нечего, – подсказывала жена.

Стал Мердников объяснять детям про Макара Нагульнова, который кормил народ при помощи нагана, а дети катанули ему под ноги бутылку из-под портвейна «777». Мердников сделал вид, что ничего не случилось.

– Пусть пьют. Черт с ними. Разве такие люди будущему нужны?

Единственным приличным зданием в городе был исполком. Строили роддом, а получился райский уголок со сквериком и памятником исторического лица, указывающего на сопричастность маленького городка к великим делам страны.

Жена Мердникова по ночам чесала под мышкой, вытянув руку вверх, а потом засыпала, забыв опустить руку.

– Хватит тебе голосовать, – говорил Мердников. – Теперь и людей-то нет, не за кого голосовать,

– Надо создавать отряды, а то хана, – настаивала жена.

На «Королеву Шантеклера» стремился попасть весь город, потому что кино было старое, но хорошее, и все это знали.

Мердников – не последний в городе человек – получил в исполкоме билеты и отправился вместе с женой на вечерний сеанс.

А город гудел, как в застойные времена. Вместо сыров и колбас, вместо мыла и сигарет, вместо пионерских галстуков и губных помад всюду продавался портвейн «777».

– Не «666» – число зверя, – говорил Мердников, – а «777» – вот число, которое окончательно очистит землю от зла.

– Портвейн вернулся, значит и портреты вернутся. Стабильность нельзя называть застоём. Портреты и покойники должны быть на своих местах. Вот тогда – государство! – твердила жена-историчка.

Мердников чувствовал, что страдает. Жена была тверда, а его страдание трепыхалось вокруг ее твердости, словно стяг. Он как бы заискивал перед женой, которую не смяли новые ветры, которая быстро нашла себя, определила собственное место в будущих социальных боях.

Отряды и трупы! Все, что не отряд, то мертво.

Его же тянуло в прошлое, в котором дядя – хоть и убийца, но все же герой. По идейным соображениям убийца, убийца классового врага. Нельзя и сравнивать с теми, которые украли его оружие для того, чтобы эксплуатировать историческое наследие в личных корыстных целях.

Путался Мердников и сбивался, выискивал приметы возврата, реверс часового механизма, чтобы стрелки рвануло назад.

– Какие стрелки? – возмущалась жена. – Не стрелки важны, а стрелки. Река стоит, город пьет, жрать нечего. Это не поворотный момент, это – мертвая точка истории. Отряды надо сколачивать. Брать власть надо. Вот что.

Но нет! Жена не совсем права. Назад пошло время. Это видно по окружающим рохам, по бессмысленной копошине. Пьяный тащит из грязи пьяного, а сам валится в грязь, и масляно лыбится черная лужа с плевком и окурком. Стриженная девчонка, которой не только матерью никогда не быть, но и девушкой, дымит табачищем в кругу парней.

– Эй, учитель! – крикнула девчонка Мердникову. – Проведи в кино, скажи, что я твоя дочь!

– Дети до шестнадцати не допускаются, – ответил Мердников.

– У-у, жлобина! – девка щелчком пустила в него окурком, но не попала. – Маму волтузил, а дочку не признаешь.

Черная зима кругом, черные люди. Малый с длинным, подплывшим, как сосулька, лицом, растягивал рваную гармошку и без ладу и орал:

– А у нас такая власть – / пейте ханку всласть! / Власть пайка и пакета. / Влазь пока под ракету.

– Народ сконтрился, – сказала жена.

К старому кино прилагался старый киножурнал. Старый человек невразумительно благодарил за награду, а зал потешался, свистел, крыл матом. За спиной Мердникова кого-то тошнило. Но не по идейным соображениям. Просто перепил человек.

Жена начала опять про отряды, но тут стали показывать другое кино: про жизнь, которой нигде, кроме кино, нет.

Мердников смотрел на экран и ничего не видел. Ему хотелось встать и сказать:

– Товарищи!

Но сделать этого он не мог, потому что никто из сидящих в зале, а также вне зала – на улице и в стране – никто в товарищи ему не годился. И понимать это было страшно.

Кто-то крикнул, что его облевали, и молодой голос взвыл:

– Жалобу пиши Леньке Брежневу!

– Пошли отсюда, – резко поднялась жена. – Отряды нужны, отряды...

– Ты все рассказал? – спросила Дарья. – Можно хлопать или добавки ждать?

– Да чего добавлять? – задумался художник. – Тут нечего добавлять. Просто я хотел сказать, что Мердниковы – они всегда тут. Столбовые большевики.

– Всегда вы так – люди искусства. От вас ждешь совета, а вы картину рисуете. В чем дело – и не поймешь, – вздохнула Дарья. – Моей беде твой рассказ не поможет.

Художник Лепешкин хотел узнать о беде подробнее, чтобы прорисовались детали, но ничего не вышло, потому что Дарья решила помалкивать. Видно, крепко боялась кого-то или берегла от опасности дорогого человека, большого художника. Так и не прорисовала она детали. Кукиш к могучим людям не обратился и в это действие не вмешался, то есть полностью выбыл из игры под названием «Игнашкина жизнь».

Прощаясь с художником, скажем, что с рыжей продавщицей Дарьей он открыл для себя невиданное блаженство, которое стало источником непреходящего вдохновения. Критикам памятен еще был «Сбор падалицы», а он уже выставил картину «Звездное собрание», на которой лицом к зрителю взлетала рыжая продавщица Дарья, а спиной – он сам, хватающий с неба звезды. Тут тоже вычитывались разные идеологические сюжеты, но они не имели никакого значения, потому что ощущалась в картине радость и тишина, поэтическая затаенность блаженства. По Вселенной любви рыжая продавщица пролетала спокойно и весело, как хозяйка по кухне, и звезды просвечивали ее теплую плоть.

На этом месте мы могли бы расстаться также и с продавщицей Дарьей, но для продолжения рассказа об Игнашке нам нужно прочитать несколько страничек ее жизни, то есть тех страничек, в которые не хотела она посвящать муженька.

По вечерам Игнашка с Блудниковой обычно гуляли по тихим московским улицам или подолгу сидели в сквере. Игнашка перетаскивал скамейку в такое укромное место, в котором никто их за кустами сирени не видел. Они могли там не только разговаривать и целоваться, но также допускать кружение головы. Правда, они почти никогда не делали этого, потому что приходили в сквер отдохнуть.

Однажды на улице остановил их противный хам.

– Ты где штанишки брал, паря?

– Украл, – ответил Игнашка.

Он никогда никому не врал, потому что – Сёма говорил – ложь унижает.

– То-то гляжу, что не купленные.

Игнашка с Блудниковой хотели обойти хама, но тот заметил:

– Этим штанишкам цена большая. Очень. Их в мастерской Мердникова пошили.

– Да? – сказал Игнашка. – На сколько же тянут?

– Может быть, и на жизнь. Твою, паря.

– Не слабо, – восхитился Игнашка.

– Ведь штаны из известного чемодана? Так?

– Может быть, и так.

– Ну тогда я должен про рыжую Дарью кое-что рассказать. Пойдемте на вашу лавку. Там и расскажу. Я знаю, что вы там сидите по вечерам.

Сели они на лавку. Солнце не хотело покидать московский сквер, медлило, цепляясь за листья сирени, но вскоре ушло, и настала полная темнота. Вот что услышали Игнашка и Блудника из московской темноты от наглого хама.

Когда Дарья вместе с потоком людей впадала в метро, ее внесло в руки хрякова-того мужчины, достоинство и форма которого напоминали комсомольца периода застоя.

– Жаль дамочку, – сказал мужчина. – В метро изомнут и сдвинут шляпку. Одной моей знакомой в автобусе на грудь наступили.

– Положь где взял, – кратко сказала Дарья.

Но, почувствовав хватку и оценив равнодушие окружающей толпы, решила, что разумнее сдаться.

– Не дави клешней, не сбегу, – прошипела Дарья и тут же всунута была в желтый «жигуленок».

– В ресторан желаем или прямо на дачку? – спросил мужчина, пристегивая Дарью ремнем.

– Домой желаем, – грубо ответила Дарья.

Мужчина взялся за руль и сказал:

– Домой – так домой.

И, не спрашивая адрес, отвез Дарью домой, в ее загородное имение.

На второй день мужчина финт повторил, а на третий предложил называть его Василь Егорыч.

– Василь Егорыч, Василь Егорыч... – несколько раз проговорила Дарья, словно пыталась вспомнить нечто, связанное с этим именем. – Кто ты такой?

Василь Егорыч задумался, словно прикидывал, что наврать, а потом сказал:

– Вообще-то я профессиональный философ. Но один случай вывел меня в сопредельные регионы.

– Ну ты и выразился! – восхитилась Дарья.

– Так и быть, расскажу, чтобы ты поняла разницу: кто я, а кто ты, – проговорил Василь Егорыч. – Пока едем, все равно делать нечего.

– Расскажи, милоч, расскажи, – не скрывала удовольствие Дарья. – Мы сплетни любим и откровения тоже любим.

– Когда я занимался пифагорейцами, – начал Василь Егорыч, – это греческие философы, о которых данных почти никаких, одни вымыслы, – я узнал, что на русском языке написана о них замечательная работа, настолько блестящая, что автор был в тридцатые годы арестован вместе со своей рукописью и расстрелян. После него, говорят, осталась вдова – старуха, страшно умная и хитрая. Она якобы сохранила экземпляр рукописи, но никому не дает. А кто только к ней не подкатывался!

Дали мне адрес старухи, я было ринулся к ней, друг мой, Мердников, человек крайне опытный – он тогда в органах работал – дал совет повременить. Мол, старуха, надо полагать, древняя, смолоду приучена к галантному обращению, и к ней нельзя являться с улицы. Ей нужно быть представленным. Так говорил Мердников.

Не буду рассказывать, сколько роз и конфет стоила мне эта дань предрассудкам ветхого века, но розы были подарены, конфеты съедены, и одна старушка привела меня к подруге своей – маленькому горбатому существу, которое едва перемещалось, хватаясь за все и вся цепкими дворянскими лапками.

– Меня зовут Софья Сидоровна, – произнесла она крепким молодым голосом.

– Подруги называют Марией, но после смерти мужа я – Софья, то есть мудрость. «Да зовись ты хоть Федор, – думал я, – мне бы только рукопись получить».

– А вы кто? – спросила она.

– Я профессиональный философ.

– Значит, вам не ко мне, вам – к мужу. А мужа моего вам следует искать у себя. Обратитесь туда, где никому не отвечают, а только вопросы задают.

И отвернулась от меня бабка.

– Зря ты набросилась на молодого человека, – сказала ей подруга, которая меня представляла.

– Как это зря? Хорошенькое дельце! Все у человека отнять, а потом помощи просить. Мол, теперь можно писать о пифагорейцах. Не нужны вам пифагорейцы, молодой человек.

– Марья, не буянь! – вступилась подруга.

– Да ты читаешь ли, что они пишут? Тут один написал, что Диоген – выразитель древнегреческого пролетариата. Интернационал в бочке! Философия – это любовь к мудрости. Любовь вы расстреляли, а мудрость – посмотрите на меня – вот каким стала уродом.

– Извините, – сказал я ей, – но мне кажется, вы не правы. Мои родители тоже пострадали, но народ-то жив, русский язык жив.

– Не народ! Рабы живы, – закричала изо всех сил старуха, – вон, раб! Вон! Кто-то пострадал, а кто-то страдает и по сей день.

Что мне оставалось делать? Ушел я, как говорится, с позором. Но коммунисты разве сдаются? Позвонил я другу Мердникову. Мы вместе когда-то начинали в райкоме. Он потом по стопам дядюшки своего в органы подался, а я – в философию.

– Посоветуй, – говорю, – что делать? Розочки с конфетками не помогли. Может, попробовать что другое?

Друг, чувствую, мнется, но делать нечего. Он мне был кое-чем обязан. Область мысли и область сыска иногда бывают так сплетены!

Через пару дней квартира старухи была обворована, и рукопись лежала у Мердникова на столе.

– Удивительное дело, старик! – вжал в плечи голову Мердников и раскрыл передо мной рукопись.

На первой странице прямо по машинописному тексту там было выведено пером: «Главы 5, 6, 3 и 12 изъять. Остальное – вернуть». И подпись: Мердников. То есть – дядя.

Полистал я рукопись и говорю:

– Разве твой дядя специалист? В самую точку врезал.

– Классовое чутье, милоч, классовое чутье, – отвечал друг. – Бабку эту убрать хотели, наезд на нее совершили, да только изуродовали. А надо бы – насовсем. Вот такая история.

– И что ты хочешь сказать этой историей?

– Да то, что с тех пор бросил я философию и пошел в заместители к Мердникову. Правда, он теперь подался в другое место, а я – на его место сел. Так что учти. У нас руки дли-и-нные.

Дарья курила в машине выпендренную сигарету и давала показаться ноге в разрезе юбки, но в области секса Василь Егорыч не шел дальше разговоров о своей знакомой, которой в автобусе наступили на грудь.

– При чем тут грудь? – поинтересовалась Дарья.

– Да понимаешь, один парень тут организовал массовую продажу французских лифчиков, вот и грудь, – озадачил Василь Егорыч.

– Чижик, не темни! Тебе баба нужна или рынок сбыта?

– Я тебе не чижик, стерва, – оборвал Василь Егорыч.

Дарья поперхнулась дымом.

– Останови тачку, хамская рожа!

Василь Егорыч с некой оттяжкой резанул Дарью взглядом и остановился.

– Вываливайся, чума! Только знай: Псков в осаде.

Тут только в голове Дарьи связались в один крепкий узел французские лифчики, раздавленная в автобусе грудь и собственная судьба, связанная со Псковым. Это был удар – пусть не по Дарье, но почти по Дарье, потому что Дарья была

связана интимной связью с Псковым, директором магазина, немолодым, но сильным мужчиной, который в порыве страсти ставил Дарье печать на ляжку, мол, она так лучше напоминает мясную тушу.

Волевым движением мысли Дарья успокоила взрыв ненависти и вкрадчиво спросила:

– Вы так могуч, Василь Егорыч?

– Достаточно могуч, чтобы Псков пал с позором. Проверками замучаю. Не каждый день приходит солдат-спаситель.

– Вези меня на свою дачу, – решила Дарья и выбросила окурочек.

Его загородный домик оказался за двумя городами. Там была тишина и птички, которые высвистывали одно единственное слово: обман. Но Дарья и рада была обмануться, лишь бы помочь дорогому Пскову.

– Хорошая дача, – сказала Дарья.

– Дерьмо, а не дача, – буркнул Василь Егорыч, который грубел с каждой минутой, пока не выругался матом.

– Какая проститутка насеяла здесь моркови? – ругался он, загоня машину прямо в морковную грядку.

– Ты тащил меня сюда мат слушать? – спросила Дарья, и пуговичка на ее кофе задумчиво выскользнула из петли.

Василь Егорыч хрюкнул и, звякнув ключами, стал отпирать дом.

Внутри было не кисло, но и не то чтобы ах: сарафанистые занавески, дорожки-дерюжки, вонючий диван и рыгающий холодильник, да еще ко всему – хрячья рожа Василь Егорыча, которая вдруг сделалась серьезная, как беременность.

– Ты на любовь-то губу не раскатывай, – брякнул Василь Егорыч.

Дарья так и села.

– Нужен ты мне, хряк-рожа!

Василь Егорыч стоял, а Дарья сидела, так что ему хорошо было видно, от чего он отказывается. Однако Василь Егорыч нисколько при этом не нервничал, и Дарья пережила жестокое женское поражение.

– Поживешь тут дней десять, – сказал Василь Егорыч. – Одна останешься. Мне с тобой колупаться некогда. А за это получишь сумму. А?

– С чего бы это? – спросила Дарья и стала застегивать кофту,

– Соглашайся, а не согласишься, найду дармоеда – он тебя будет сторожить, как пулемет.

Дарья не знала, что ответить.

– Итак, за калитку – ни ногой, – твердо произнес Василь Егорыч. – В холодильнике все есть, только хлеба нет, да он тебе и не нужен.

– Вези меня назад, – сказала Дарья.

– Молчи, дура, иначе, точно говорю, подыщу тебе развлекателя, и напрочь потеряешь вкус к жизни.

– А за что же ты мне дашь сумму?

– А вот за сиськи твои, – хохотнул Василь Егорыч, сел в машину и уехал.

«И ведь не запер, – думала Дарья, – Значит, верит. Нет, тут какой-то обман. Я вот и готова была на всё».

Сколько она ни думала, ничего не придумала. Ночь проспала на вонючем диване, утром консервы ела, потом книжки пыльные обнаружила, по саду побродила, обед сварила, телевизор был на даче... В общем, скоротала так две недели. Даже помылась два раза и вытерлась простыней, потому что не нашла полотенце.

И вот явился, наконец, Василь Егорыч.

– Заждалась, девушка? – Он был весел и несколько менее хрюковат. – Ты и загореть успела, как вижу.

– Не темни, – отрубил Дарья.

– Держи свою сумму и вали отсюда. Мы друг друга не видели никогда и знать ничего друг о друге не знаем.

Он положил на стол пачку денег.

– За что? – спросила Дарья,

В Москве сразу позвони Пскову, – наказывал Василь Егорыч, выпроваживая Дарью за калитку. – На электричку здесь налево по дорожке и прямо. Так и при-
дешь на станцию.

В Москве Дарья первым делом положила деньги в сбербанк на карточку, а карточку замотала в прическу. Так ей почему-то показалось надежнее.

Явилась она к Пскову.

– Насиловали? – спросил резко.

– Я оставалась тебе верна, – ответила Дарья.

– Твоя верность мне дорого стоила, – по лицу Пскова потекли скучные слезы.

– Мной на тебя давили?

– Не твое дело. Спаслась и дыши глубже.

– Милый! – сказала Дарья и бросилась утешать,

– Покажи-ка мне сумочку, – тихим голосом велел Псков.

Но в пустом кошельке была только его фотография, которую Дарья в лириче-
ском припадке сорвала однажды со старого документа.

– Самая дорогая моя любовница. Самая-самая! – восхитился Псков.

Но ей показалось, что он обвиняет.

– Милый, милый, милый, – ластилась Дарья к Пскову. – Мой маленький Рот-
шильд.

– Я не Ротшильд. Просто Василь Егорыч – следователь. А тебя, дура, для виду украли, для отвода глаз, чтоб срубить сумму денег. Через меня всю банду мою устрасали. Мол, налоги и пошлины надо платить. Романтика, мать их так. Мол, по закону можем и незаконно можем. Что хотим, то и воротим. Дуры! А я с этим сле-
дователем как бы в сговоре. Ему передали деньги, а мою долю в этом нашем с
ним деле он с тобой должен послать. Но, как вижу, забыл. Поди взыщи теперь. С
них не взыщешь.

Псков взглянул на богатую Дарьину грудь и мстительно ткнул в нее кулаком.

– Уйди, досада! Насиловали тебя. Вижу. А ты и рада-радехонька.

К концу рассказа голос наглого хама сделался тихим, а потом совсем затих. Игнашка ошупал лавку, где он сидел, но хам исчез.

На этом месте рыжая продавщица Дарья тоже выбывает из нашего повествова-
ния. Скажем только, что недолго задержалась она в магазине. Удачно забеременев
от художника, она вышла за него замуж и стала москвичкой. Ворвавшись в изобра-
зительное искусство через полотна мужа, Дарья обнаружила в себе художествен-
ный вкус и занялась фотографией. Но дальнейшая судьба этой красивой женщины
лежит далеко за пределами нашего повествования.

Встреча с хамом Игнашку нисколько не взволновала, но Блудника серьезно
забеспокоила, потому что каждый день стали звонить по телефону, глупыми
голосами спрашивали Игнашку, а когда он подходил, клали трубку.

Однажды позвонила в дверь женщина. Блудника долго не открывала, потому
что Игнашка не отставал, но женщина дождалась. Сунула нос в дверь и спросила:

– У вас штанишков не продается? Или мехов, мягкой рухляди?

– Тебе кило или два? – спросил Игнашка из-за спины Блудники.

– Значит, продали все, – заключила женщина и ушла.

Блудника решила, что дело плохо, что надо ждать беды. А Игнашка не тревожил-
ся нисколько, потому что с ним беды никакой случиться не может. Он был уверен.

– И ты от меня никуда не денешься. Мне с тобой так сладко, что не может быть горько. В армии я отслужил и государству разлуку не должен.

Она обняла его и поцеловала, и он ее целовать стал. А пото головы у них закружились. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Однажды позвонил важный голос. Не тенор, не бас, а слышался крупный ум.

– Солдат, ты с женой-то, я знаю, не расстанешься. Я тут недалеко живу. Зашел бы в гости.

– С кем имею честь говорить? – спросил Игнашка и включил громкоговоритель, чтобы слышно было Блуднике.

– Неплохо бы деньги за порточки внести или извиниться хотя бы.

– Надо в милицию, – шепотом заскулила Блудника. – Сознаться надо.

Но Игнашка рукой махнул и спросил в трубку:

– Куда прийти? По какому адресу?

– К портному Мердникову тебе нужно прийти, дружок.

– Ставь чайник. Сейчас приду.

Портной Мердников был пузат и гологолов – некое чудачество сфер. Он открыл дверь, запахивая живот в огромный халат.

– Проходите, пожалуйста! Я один, но это ничего не значит. То есть это не следствие бессилия. И вообще никакое не следствие. У нас следователи – друзья-закадыки.

Игнашка и Блудника вошли в заставленную коробками прихожую, из которой вел коридорчик в кухню.

– Там кофе варим, тут – туалет, – показывал пальцем Мердников, словно собирался сдавать им квартиру. – А вот здесь беседовать будем.

Он пригласил их в большую комнату и усадил у круглого стола под зеленым сукном. Тут было пусто – стулья стояли, журналы валялись на столе и на стульях. Нечисто было в этой комнате. Не мусорно, а как на вокзале. Здесь топталось, пожалуй, много народа. И еще одна странность: в комнате не было окон, но зато – три двери, кроме входной.

– Чему обязаны приглашением? – спросил Игнашка.

– А сам как думаешь?

Мердников сел напротив Игнашки и Блудника спиной к трем дверям.

– Я предлагаю даме пройти на кухню и заняться приготовлением кофе или чая, как вы хотите. Вас это не затруднит, госпожа Блудника? А то, понимаете, один живу, а оставлять вас наедине... Наслышан, слышан. – Мердников засмеялся и покачал головой. – Поощряю. Это вызывает уважение. Я тут разобрался с вашим делом. Вы, конечно, не виноваты. Тут другие виноваты, и с ними разобрались. А на остальных вины нет. Если только в малой степени, в незначительной степени. Рыжей Дарье мы, положим, простили. Не дикари ведь. Она много лет нам служила, не скупилась на богатое тело. Но вас-то нам жалеть нечего. Деньги – они деньги. Их надо вносить. Вы хотя бы что не истратили, принесли?

– Принесли, – сказала Блудника.

– Не принесли ничего, – буркнул Игнашка. – Денег у нас уже нет. А ты, милая, правда, приготовь-ка нам кофе. – Игнашка с нежной строгостью посмотрел на Блуднику. – Видишь, в женском вопросе дядечка – деревенский отстой.

Блудника вспыхнула и удалилась.

– Она вас боится, – сказал Игнашка.

– Не без оснований, – заявил Мердников и прищурил глаз, словно прицелился.

– Отсюда можно и не выбраться, или до дома можно не дойти.

– Ну, это фигня.

Игнашка был спокоен и тверд, и это явно нравилось Мердникову.

– Ты, видно, проходимец.

– Тебе моих характеристик не подписывать, – ответил Игнашка.

Мердников улыбнулся всеми своими сферами и сказал так, как если бы перед ним было пространство, значительно большее этой комнаты.

– Кто знает, кто знает, что мне подписывать. Ты газет не читаешь, а на простынях новости не печатают. От нашего голоса многое теперь зависит. Может быть, даже выбор пути. Так что не ссорься с нами. Ошибешься и выберешь неправильный путь.

– Разве вас больше народа?

– Вещь, дружок, не в количестве, а в качестве силы. А народ... Знаю я про большой народ небольшой рассказец.

МЕДВЕДЬ НА ЯПОНСКОЙ ЛЕСКЕ

В электричке раз сидел напротив меня старичок-рыбачок, и очень, видно, хотелось ему поболтать.

– Февраль сейчас, снежок мягко падает, – завлекал слушателей старичок. – Но это не тот февраль. Вот, помню, в шестьдесят втором году был февраль. То был февраль!

– Да чем же он февралее этого февраля? – спросил я. Вижу, что – вралья.

– Да как же! В шестьдесят втором году, по февралю, написали мне друзья из Владимирской области, что лещ пошел. Приезжай, мол. Собрал я вещички и думаю, дай ежа себе сделаю: такая свинцовая чушка с шипами – ледяную крошку таскать, чтоб лунка не подмерзала. Отлил я ежа, привязал японскую леску, а лески у меня все японские. Хоть и дорого, но не рвутся. Ну и поехал. Прихожу на место, где лещ, вижу: многоноcko рыбачков. Надо, значит, выше по течению продвигаться. Зашел за излучку реки – лес с двух сторон, пусто, солнышко светит. Снег утоптал, лунку сделал... дерг – и сразу тяну леща. Килограмма на три. Во, думаю, дело! Руки аж затряслись. Забрасываю второй раз. Ни шиша. Поплевал, поколдовал: опять ничего. Ах ты, язвы тебя!

А тут поземка поднялась, солнышко скрылось, и, чую, со спины кто-то смотрит. Оглядываюсь, а на меня медведь идет. Какая-то сволочь, видно, не ко времени подняла из берлоги. Ой, думаю, надо тикать. Но куда тикать? Бросить все надо. А разве бросишь? Да и не убежать мне от медведя. А он уже на задние лапы встал. Я дыхание его чую. Что делать? Хватаю ежа своего, да в него и брось. А он, ловкач, возьми да поймай! Сдавил лапами, да как заревет! – шипы-то в лапы ему впились. Ему бы разжать лапы, бросить ежа, а он сильней только тискает, хочет удушить чушку мою, словно она живая, и ревет от боли, бедняга, заходится. Схватил я вещички да хотел уходить, но у меня на этом еже японская леска, дорогая, у спекулянтов купленная. Дергаю леску, думаю – оторву, но хрен-та! Японская. Прочная. А миша, гляжу, шаг сделал, второй...

И повел я его вдоль реки. Выхожу на людное место: медведь ревет, рыбаки разбегаются.

– Помогите, – кричу, – его убить надо. У кого ружье есть?

Но никакой мне помощи и поддержки. Один малый сжалился – оглянулся и крикнул:

– Веди его по реке до железнодорожного моста километров шесть. Там путевой обходчик – с ружьем.

Вот и вел я медведя шесть километров на японской леске. Обходчик, к счастью, дома был и уложил зверя моего одной пулей, Мясо он себе взял, а шкура теперь у меня. У кровати лежит. Каждое утро встаю – вспоминаю.

А ты говоришь, русский народ проснулся, – добавил старичок-рыбачок, хоть и не говорил я ничего, и вообще мне не хотелось эти глупости слушать.

– Понял сказочку эту, солдат?

– Ты думаешь, не жить мне, как медведю, который проснулся некстати? Которого тащат на иностранной леске?

Мердников подумал, как бы привзвесил слово, еще не сказанное:

– Кто его знает. Иногда мне кажется – не жить. А погляжу на тебя с Блудникой внимательнее (потому и не трогал пока – глядеть интересно), погляжу, и сдается: не исправится наш народ до нужного состояния никогда. Жив будет. Вот и позвал я тебя, чтобы решить этот вопрос окончательно.

Мердников помолчал – дал дозвенеть словам и заглохнуть, и вдруг спохватился.

– Но умничать мы не будем. Ведь по-твоему думать – слабость. Если денег нет, а вымогать мне свое не хочется, я предлагаю: пусть решат карты. Играешь? – Не играю, но за хорошее дело можно и сыграть.

Игнашка не хорохорился: он и правда ничего не боялся. Он знал, что отвертит-ся. Друг Сёма учил: ты только с государством не ссорься, потому что у него – территория. Оно тебя, как клопа в постели, съест, раздавит, и рыпаться бесполезно. А на все остальное возлагай части тела.

– Прав твой Сёма, – неожиданно заявил Мердников. – Но учти, что я уже государство.

– Это фигня, – стоял на своем Игнашка.

Открыл Мердников ящичек, достал новую колоду, лишние карты выкинул и стал сдавать.

– Я только в дурачка играю, – сказал Игнашка.

– Извстное дело, что – в дурачка. Самая игра – дурачок, – заговорил Мердников совсем умным голосом. – Разве другие игры бывают?

– Это как понять? – спросил Игнашка, показывал меньшую карту и начиная игру.

– А так и понять, – отвечал Мердников, – всюду на свете одни дурачка разыгрывают, а другие – дурачки – вкальвают.

– Ну это ты, дядя, врзал. Мы мозгой такие тяжести не поднимаем. Мы полегче чего поднимаем, потому что мозгу бережем.

– Ах ты, ах ты! – притворно воскликнул Мердников, – народ, с которым живешь, хорошо нужно знать или хотя бы мнение нужно иметь.

– Кусают – прокусить не могут, глотают – проглотить не могут, мнут-мнут, жуют-жуют, и сожрали бы, да поперхиваются – вот мнение.

Мердников повернул голову, и зайчик скакнул по стене от лысины. В комнате была сильная лампа.

– Предлагаю ничью, – сказал Мердников.

– Тоже мне шахматист. В дурака ничьей не бывает.

– У меня бывает. Я демократ.

– Сам не говори. Жди, когда люди скажут.

– Соглашаешься на ничью?

– Соглашаюсь, но тогда все деньги – мои. Второй раз играть не усадишь.

– С какой стати – твои, – возмутился Мердников.

– Коль ты сел эти деньги выигрывать, значит решил, что они мои.

– Не зря о тебе, парень, чудеса говорят. Но для меня этот грош – не разор, а тебе – не польза.

Тут Блудника кофе принесла в синеньких чашечках.

– Как дела? – спросила.

– Нравится он мне, – сказал Мердников. – Не хочется у него выигрывать. В ка-балу его хочется залучить.

– Нашел дурака! – хмыкнул Игнашка.

– Ну что ты при бабе значишь? – Мердников поднялся, стал по комнате ходить, лысиной освещая углы. – Пробалуешься всю жизнь, а тебя, возможно, ждут большие дела. Страну, может быть, разовьешь должным образом.

Блуднике эти слова не понравились. Надуваться стала, любезность с лица согна-
ла.

– В рожу из чашки плесну горяченького, – тихо молвила Блудника.

Но для Мердникова она оказалась не досаднее мухи.

– Ты понимаешь, – говорил он Игнашке, – ты мне, проигравший, не нужен. А
выиграешь – обнаглеешь и вознесешься. И опять я попаду мимо цели. Ты мне
такой, как есть, нужен. Свободный, но преданный.

– Игнашка, отдай ему деньги, – сказала Блудника. – Он предателей ищет.

Игнашка засмеялся, притянул Временику к себе и поцеловал.

– Разве он тебе враг? – спросил Игнашка. – Может, он добра хочет.

– Вот именно, что добра, – вкусно сказал Мердников и руку поднял – значение
слов своих подчеркнул.

– Беда это, миленький! Горе! Брось рубли и бежим отсюда!

Блудника заплакала, стала Игнашку тянуть, а Игнашка к себе ее потянул, чуть
голова не закружилась у них, но Мердников не дал забыться.

– Рубли – что! Бери их себе. Тут дело не рублевое и не тысячное. Становись
в мой ряд, или...

– Мы к мировой общественности обратимся, – пригрозила Блудника.

Тут Мердников захохотал, чуть не лопнул от натуги.

– Какая тебе с таким именем вера? У тебя в самом имени потаскушность. Сда-
вайся, Игнашка. Давай дружить. Ни один народ тебя не спасет – ни наш, ни чу-
жой. Свобода – она внутри человека, а вовне – куда ни приди, все равно выста-
вишь себя на продажу.

Почесал Игнашка затылок и говорит:

– Если народы мне не помогут, значит я уже не народ?

– Как деньги взял – уже не народ, – уверенно сказал Мердников. – Битая твоя
карта. Куда ни кинь – все дурак. Вот я сейчас уйду, а ты думай. Видишь – три две-
ри. Направо пойдешь, изгоем век доживешь, прямо пойдешь – в тюрьму попа-
дешь, а за мной следом – прямо в мою команду. Так что решай. Отсюда вам, дру-
зья-товарищи, выхода нет.

– А если назад вернемся? – спросила Блудника.

– Там – смерть, – отрубил Мердников и скрылся за дверью.

Блудника заплакала, руки в отчаянии заломила, но Игнашка не позволил ей
унывать. Обнял Блуднику свою, и закружились у них головы очень сильно. Как бы-
ло дело, сказали бы, да приличия надо блюсти. В общем, началось тут действие,
небывалое по силе и длительности. За дверями ждали-ждали, думали пере-
ждать, но у пары нашей удовольствие никак не кончалось.

Надоело ждать Мердникову. Махнул он рукой и решил уехать. И унесло его в
дальний край, за Ламаншский пролив, а троедверное помещение осталось Игнаш-
ке с Блудником.

Много времени спустя Игнашка и Блудника очухались, вспомнили, где находят-
ся, открыли те двери, а за ними оказались прекрасные комнаты с видами дивного
города Москвы.

– Надо заселить эти комнаты нашим потомством, – сказал Игнашка.

– Новых людей нарожаю, честное мое женское слово, – выдохнула Блудника.

Дыхание ее оказалось настолько сладким, что у Игнашки закружилась голова,
и ей он голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Так вот.